

“Радуюсь, что могу работать...”

Владимир ЕРМОЛАЕВ

Одна из самых богатых дам России — графиня Панина — была убеждённой англоманкой. В числе прочей недвижимости ей принадлежал и замок в Гаспре, в стрельчатые окна которого с одной стороны плескалось море, а с другой — как на ладони, была видна громада знаменитой крымской горы. Строение это, скроенное на средневековый манер, напоминало декорации к “сценам из рыцарской жизни”. Круглые, наподобие многократно увеличенных шахматных ладей, башни, мощённый плитами двор, винтовые лестницы внутри здания... Только “декорации” эти были сложены из прочного серого известняка и, как положено сооружениям такого рода, занимали господствующее над окрестными улочками положение.

Врачи настойчиво советовали Льву Николаевичу сменить яснополянский климат. И, приняв приглашение Паниной погостить на крымской даче, он, сам того не подозревая, помог вписать имя заурядной помещицы в историю русской культуры. Граф Толстой, как известно, не был бедняком. Но и он, прибыв в эти полуденные края, с некоторым смущением писал: “Живу я здесь в роскошнейшем палаццо, в каких никогда не жил. Фонтаны, разные поливаемые газоны в парке, мраморные лестницы и т.п. Кроме того, удивительная красота моря и гор”.

В замке Паниной была небольшая домашняя обсерватория. И, прикинув к стеклянным окулярам, Толстой подолгу смотрел на прочеканенные первым осенним серебром вершины Ай-Петри, на вечно движущееся, льющееся, вспыхивающее под солнцем полотно моря. Но ещё пристальнее всматривался он в неброскую жизнь скромного татарского посёлка в 500 душ, теснившегося у подножия замка. Словно надеялся с помощью обычных линз не только приблизить её к своим глазам, но и проникнуть в самую её суть, в скрытую глубину.

В Гаспре всё напоминало ему молодые кавказские годы: утренние пахнущие кизяком дымки над плоскими кровлями, гортанный говор жителей, лабиринты глухих каменных оград, поверх которых летела иногда под дробный цокот копыт, словно сама собой, папаха лихого всадника.

Здесь всё было, как полвека назад, когда “служил на Кавказе офицером один барин” и когда ещё никто не догадывался, что будет значить со временем для России его имя. Среди снимков, сделанных в Гаспре, есть один, который, может быть, лучше других передаёт нам характер “великого упряма”... Прочно упёршись сапогом в валун, Толстой сидит у самой кромки воды. Ветер развеивает его белые, как пена, волосы. Его взгляд словно что-то выпрашивает у моря и в то же время спорит с ним: “Ты — море, а я — Лев Толстой, мы — две равные по силе стихии...”.

Работал ли Толстой, говорил с друзьями или слушал музыку, его мысль не знала отдыха, как не знает его вечный морской прибор. Вал за валом накатывается волна на берег, сотрясая землю, размывая мягкие породы, унося песчинку за песчинкой, пока не рухнут, казалось бы, самые неприступные твердыни. Существовать для Толстого — значило мыслить, а мыслить — значило бороться.

“Ввиду неизбежности революции, — диктовал он вздрагивающими от напряжения стариковскими губами, — предоставляю к распространению эти две памятки”. Речь шла о брошюрах, в которых он, ещё не справившись полностью с болезнью, решил обратиться к русской армии.

В Гаспре он снова принялся за свою кавказскую повесть “Хаджи-Мурат”, перемарывая одну страницу за другой. Писал с такой молодой страстью, с таким поразительным для его возраста ясным и мудрым видением жизни, с такой любовью и ненавистью к своим героям, какие, может быть, не всегда чувствовались и в ранних его вещах. А ему шёл уже 74-й год.

В январе после прогулки в дождь он получил тяжелейшее воспаление лёгких, и почти все медики считали его дело определённо безнадежным. Вслед за этим переболел жестоким брюшным тифом. И пока он балансировал на грани жизни и смерти, из Петербурга летели секретные телеграммы — губернатору Курскому, Орловскому, Тульскому и прочим: “Благоволите принять зависящие меры к воспрепятствованию каких-либо демонстраций по пути во время перевезения тела Льва Толстого”. Летели распоряжения, предписывающие, каким тайным маршрутом следовать “траурному вагону” и как без лишнего шума, быстрее препроводить гордость русской земли в последний путь. Это, так сказать, директивы по административной, официальной линии. Одновременно с жандармской слежкой, установленной за крымским пристанищем Толстых, шла охота и за самую душу больного писателя. “О, графиня! — взывал из Петербурга митрополит Антоний, обращаясь к жене Толстого. — Умолите графа, убедите, упродите сделать это. Его примирение с церковью будет праздником святым для всей Русской земли, всего народа русского, православного”...

Но “праздника” не состоялось, не могло состояться. Толстой переупрямил и свою болезнь, и своих непрошенных душеприказчиков. Сохранилась фотография, сделанная Софьей Андреевной в те критические для него дни.

На одеяле с геометрическим орнаментом тяжёлые, почти уже окаменевшие руки. Чёрные провалы глазниц, совсем седая, словно тающая в ледяной белизне подушек, толстовская борода. Впечатление такое, что всё это уже не принадлежит лежащему на постели человеку. Всё разъято на части. Существует независимо, отдельно от него. Единого целого больше нет.

Но рядом с кроватью, на круглом столике — груда книг и рукописей. И первое, что он скажет, преодолев очередной пик болезни, будут слова: “Радуюсь, что могу работать...”

Отсюда, из захолустной крымской деревеньки, он предпримет отчаянную попытку образумить царя, зная почти наверняка, что ничего путного из этой затеи не выйдет. Но он не был бы Толстым, если бы отказался от неё.

“Любезный брат, — писал он самодержцу. — Такое обращение я счёл наиболее уместным, потому что обращаюсь к Вам не столько, как к царю, сколько к человеку — брату. Кроме того, ещё и потому, что пишу Вам как бы с того света, находясь в ожидании быстрой смерти”.

Это в письме к последнему российскому правителю. И тут же, почти одновременно — беспощадная характеристика другого венценосца, которую он дал в “Хаджи-Мурате” предшественнику Николаю II и которую можно смело перенести на самого “любезного брата”. Здесь и “ожиревшие щёки”, и искусно прикрываемая париком лысина, и самодовольное упоение тем ужасом, который он внушает людям, и холодный бесчувственный разврат. “Но, несмотря на то, что он был уверен, что поступал так, как должно, у него оставалась какая-то неприятная отрыжка и, чтобы заглушить это чувство, он стал думать о том, что всегда успокаивало его: о том, какой он великий человек”.

Но как в таком случае понять верноподданнический тон обращения к царю в письме Толстого? Одной ли рукой писаны эти столь разительно несхожие строки? Одной — толстовской. Потому что вслед за “кротким” вступлением в письме шла всё та же нагая, ничем не подслащённая правда. О бесправии крестьян и о терроре правительства по отношению к собственному народу. О том, что один человек вообще не может управлять такой большой страной, как Россия. Толстой вскоре понял, что пытался обуздать зло, обращаясь за помощью к самому источнику зла. Наступило горькое похмелье, и он вынужден был признаться, что взывал к человеку, который держался за своё место зубами.

...Ещё со школьной скамьи в нашем сознании привычно выстраивается цепочка анти-тез: мыслитель и художник, философ и творец величайших эстетических ценностей, моралист и тончайший исследователь человеческой души. Все заблуждения и противоречия Толстого нам ясны чуть ли не с пелёнок. И гораздо труднее приходит понимание того, что ещё никому в искусстве не удалось создать даже мало-мальски заметных ценностей на

основе одних ошибок и заблуждений. Что иногда именно совокупность противоречий составляет то нерасторжимое целое, которое мы называем творческим гением. Только непрерывный спор с самим собой, с привычными установлениями не даёт остановиться мысли художника, движет её вперёд и вперёд. Нередко его суждения похожи на разнозаряженные частицы. То и дело сталкиваясь, взрываясь и отрицая друг друга, они в конечном счёте и образуют ту критическую массу вещества, которая заставляет “гореть солнце”.

Но ведь было у Толстого и нечто другое — явно неприемлемое для нас: “непротивление злу насилием”, отчаянные попытки изобрести универсальные религиозно-нравственные догмы, с помощью которых он надеялся переустроить душу человека, очистить её от скверны лживой социальной морали. И опять-таки: нужно ли так безоглядно записывать всякий раз эти заблуждения за счёт самого их творца? Ведь у подлинного художника всегда — “тысяча лиц”, из которых ни одно в отдельности ещё не есть он сам, ни одно не выражает полностью его собственного “я”. Не стоит ли предположить, что в некоторых случаях мы имеем дело лишь с “образом”, от имени которого писатель совершает “ошибки”, предлагая нам очередной вариант оздоровления общества? Таких вариантов бурная и противоречивая эпоха Толстого выдвигала великое множество. И он мог “приписать” их себе, потому что знал: его имя звучит для современников гораздо авторитетнее и убедительнее, чем любое другое.

На такие мистификации шли и другие художники. Но в отличие от них Толстой, создавая эти спасительные версии, сам же их безжалостно и опровергал. Своими поступками, своими последующими произведениями. Потому что хорошо чувствовал несостоятельность многих своих идей. И в этом он был действительно противоречив. Это он, “непротивленец”, бросал в лицо сильным мира сего беспощадные слова правды. Он писал в знаменитой статье по поводу массовых казней: “Нельзя так жить. Я по крайней мере не могу так жить, не могу и не буду”...

Толстой возвращался из Крыма в июне 1902 года. На пароходе, которым он плыл до Севастополя, ему поставили просторное кресло. Он сидел на палубе, укрывшись пледом, смотрел на море, на медленно приближающийся знакомый город, где зарастал травой когда-то прославленный четвёртый бастион — бастион подпоручика Льва Толстого. Во время болезни, в бреду, он часто вспоминал его. И тогда склонившиеся над ним люди слышали: “Севастополь горит!”

Он чувствовал, что вернуться ещё раз в эти края ему не дано, как не дано человеку вернуться в свою молодость.

В Гаспре Толстой пробыл с сентября 1901 по июнь 1902 года — всего лишь малую частичку своей огромной жизни. Целых десять трудных, наполненных напряжённой работой месяцев, которых бы с избытком хватило на несколько громких биографий. Здесь в редкие минуты отдыха он встречался со множеством людей. Даже этих коротких встреч оказалось достаточно, чтобы о “Толстом в Гаспре” были написаны тома воспоминаний. По-разному выглядит он в этих мемуарах. Но какие бы новые штрихи к его облику ни добавляли свидетельства очевидцев и само время, для нас он — почти неизменен. Потому что самый точный портрет писателя — это его книги. И мы снова и снова с благоговением и надеждой будем открывать их.